

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

МИХАЙЛОВСКОЕ И ТРИГОРСКОЕ

(ИЗ КНИГИ „ПУШКИНСКИЕ МЕСТА“)

Д. Якубович

I

Между живописнейших отрогов Валдайских гор делает бесчисленные петли и зигзаги широководная река Великая. Справа, в трех километрах от Тригорского, впадает в нее пушкинская голубая Сороть, Местра, овеянные славой двойных исторических воспоминаний. Лирические русские пейзажи, прозрачные и чистые дали, в которых еще на каждом шагу явственно звучит память о прославившем их поэте. Каждый поворот реки, текущей в низких луговинных берегах, каждая старая роща, каждый зеленый холм узнаются как знакомые, как с детских лет нам близкие.

Здесь он творил, здесь жил он.

И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

И в тех же местах в еще более отдаленной дымке проходят другие, смутные воспоминания, бывшие такими уже во времена Пушкина для него и для его друга — другого поэта этих мест Языкова. Здесь некогда проходили полчища Литвы. Здесь соседи буйных псковичан видели когда-то Ивана Грозного, здесь стояли городища и пригороды — передовой оборонный ряд пунктов против набегов литовских и польских королей. Узкая лента Сороти была тогда место переправы к торговому городку Вороничу, выдержавшему в качестве первой линии укреплений натиск польского короля Стефана Батория, упоминаемого Пушкиным в „Борисе Годунове“. Баторий случайно, как говорят легенды, не заметил монастыря в Святых Горах, но прошел стороной, уничтожив Ворониц.

В пушкинское время воспоминания об этой далекой эпохе еще были явственно живы. О них говорили остатки древнего пейзажа и находимые в холмах старые клады и оружие. Успеньевский собор, под старую сенью которого позже приютилась могила Пушкина, уцелел от времен, когда, по словам Языкова, побеждающий Стефан

В один могущественный стан
Уже сдвигал толпы густые,
Да уничтожит псковитян.

Языков и Пушкин еще видел :

То стен полуразбитый ряд
И вал на каменной вершине,
То одинокий древний храм
Среди беспажитной поляны,
То благородные курганы
По зеленеющим брегам.

Ныне мало что говорит об этой забытой эпохе; явственна лишь линия былых укреплений, холм городища Воронич да Савкина горка, где городище венчается каменным крестом (с надписью о попе Савве), поставленным в 1513 г. на могиле русских, павших в борьбе с Литвою.

Далекая история заслонена для нас пушкинской эпохой. К сожалению, прошедшее столетие уже сильно стерло и ее следы: в чарующих парках неоднократно, губя вековые деревья, разгуливали грозы; до революции хозяйничали помещицы и крестьянские топоры; общую планировку и характер пейзажа существенно меняли затеи потомков Пушкина, хозяев, управляющих и старост.

В революционное время вспыхнул и сгорел дом в Тригорском. Но вместе с тем только революция приостановила процесс разрушения, объявив пушкинские места заповедными, взяв их под государственную охрану и поставив вопрос о реставрации ряда важнейших памятников, восстановлении дома Пушкина, расчистке прудов, аллей. Исчезли барские дома, остались лишь их фундаменты, заросшие травой и молодой порослью; сын Пушкина Григорий Александрович по прихоти своей жены насадил перед местом отцовского дома круг из лип, а посередине круга посадил вяз, ныне большой и прекрасный, вывезенный из соседнего ганнибаловского села Петровского.

В юбилей 1899 г. возникли новые постройки, между прочим, ворота в Михайловскую усадьбу.

Давно срубленные воспетые поэтом три сосны по дороге из Михайловского в Тригорское, и на их месте „племя незнакомое“ трогательно сажает новый молодой сосняк. Исчезла в Тригорском старая баня. Выпали многие дубы из кольца „солнечных часов“...

Пусть так, но тем дорожке сделались для нас отдельные сохранившиеся реликвии пушкинской ссылки, места пушкинских трудов и отдохновений.

А их не мало. Общий рельеф окрестного пейзажа остался неизменным в Михайловском с его двумя оправленными в бархат лугов озерами — Маленцом и Петровским (Кучане), с его старыми елями и соснами; в Тригорском с его парком, где четко угадываются следы старой планировки, с прудами, с любимым Пушкиным холмом над извилами Сороти (где ныне „диван Онегина“) и общим видом на лесистый холм, на далекие деревни, на зеленое городище. Как и во времена поэта, вьется узкая дорога, поднимающаяся в гору, когда направляешься из Михайловского в Тригорское. Осенью она изрыта дождями... Сам по себе он дает бесконечно много для понимания пушкинской лирики и деревенских глав „Евгения Онегина“, этот вдохновительный и полный поэтических ассоциаций пейзаж. Наше поколение не ошибается, пытаясь прочесть в этом пейзаже поэтический и реальный комментарий к поэтическим созданиям Пушкина и понимая признания самого Пушкина насчет того, что в IV главе Онегина он изобразил собственную жизнь в деревне с почти буквальной точностью. Мы знаем, что строфы о „старинном замке“ — поэтически собирательные строфы, имевшие в виду может быть Михайловский, может быть Тригорский дом, а может быть и черты старинного замка Ганнибалов в Петровском. Но типическое в пушкинских поэтических указаниях столь ярко, что мысленно невольно отождествляешь их с местами, которые здесь видишь, прикрепляешь отдельные стихи и об-



*Гравюра Л. С. Хижинского
с. Тригорское. Парк над Соротью.*



*Гравюра Л. С. Хижинского
Михайловское. Домик нянь.*

разы к конкретным элементам пейзажа, поражающим здесь своей особенной задушевностью и красотой. Этот психологический процесс неизбежно происходит со всяким, кто посещает эти места. Ему способствует та удивительная конкретность и точность, с которой порою названы Пушкиным отдельные характерные части пейзажа и даже предметы: не вообще роща, а данная роща, не неведомая дорога, а вот именно эта, по которой мы идем. Поэт действительности — эти слова здесь звучат особенно. Зачастую стихи Пушкина можно читать здесь с сопроводительным указывающим жестом:

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сживал, недвижим, и глядел
На озеро...¹
...По берегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилиу крылья
Ворочая при ветре...

Тот же жест неизбежно сопровождает стихи:

На границе
Владений дворовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога...

Вот эта граница, вот эта самая дорога, вот она, как и прежде, подымается в гору, вот здесь он „проезжал верхом при свете лунным“. Пусть нет сосен, это не меняет дела, с точностью можно указать — вот здесь они стояли

одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко.

То же самое:

Здесь вижу двух озер лазурные равнины.

Оказывается за любимыми прекрасными образами раскрывается еще какая-то вторая реальная жизнь. В поэтичнейших строфах звучат живые указания не на деревья вообще, а на данные, которые можно перечислить, назвать, а если их уже нет, представить себе их и окружающие их предметы на определенном месте.

Храни сел нье, лес и дикий садик мой
И скромную семью моей обитель...
И сей укромный огород
С калиткой ветлою, с обрушенным забором...
Люби зеленый скат холмов,

Прохладу лип и кленов шумный кров.

Все это читается как поэтическая автобиография. Уже при своей жизни Пушкин сделал литературой описания своих родных сел, например Петровского:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,

¹ В черновике было:

И кажется вечер еще бродил
Я в этих рощах и сидел безмолвно
На том холме, над озером.

Скрывался прадед мой, арап.
 Где, позабыв Елизаветы
 И двор и пышные обеты,
 По сенью липовых аллей
 Си думал в охлажденные леты
 О дальней Африке своей.

Когда переплыв торжественное петровское озеро, причаливаешь лодку к берегу и поднимаешься по липовой аллее, осененной сплошным темным шатром, эти стихи невольно начинают петь в памяти, и думаешь — где-то здесь шел Пушкин-отрок к своему старому негру — сыну арапа Петра, в имение, которым наградила арапа в старости дочь Петра Елизавета.

Такой же поэтический путеводитель оставил Пушкин и по Тригорскому:

Бродить Тригорского кругом
 В лугах, у речки, над холмом,
 В саду под сенью лип домашней.

Где-то здесь Пушкин, Вульф и Языков любили

Погулять верхом порой,
 Пострелять из пистолета...

Характерно, что созданная Пушкиным традиция была подхвачена и Языковым, в своих стихах также продолжавшим культивировать поэтическую топографию Тригорского:

И три горы, и дом красивый,
 И светлой сироти извивы,
 Златого месяца в огне,
 И там, у берега, тень ивы —
 Приют пролады в летний зной.

И ту площадку, где в тишн
 Нис нежила, нис веселила
 Вина чарующая сила...

На фоне указанной пушкинской особенности невольно и ряд чисто поэтических его обобщений воспринимается нами уже не как отвлеченное *Dichtung*, а как конкретная *Wahrheit*. В Михайловском и Тригорском главы „Евгения Онегина“ читаются по-особому, и хотя они, вероятно, являлись обобщением также иных русских усадебных впечатлений, непреодолимо свываются и применяются нами к быту самого Пушкина в Михайловском. Они, во всяком случае, являются ярчайшим художественным выражением и воплощением и этого быта и этого пейзажа и поэтому трудно отрываются от Михайловского-Тригорского.

Таковы описания „почтенного замка“ в главе II „Онегина“ и „покоя“, в котором жил Онегин. Описание местоположения господского дома и его интерьеров, видимых глазами Татьяны. Отдельные детали при этом совпадают с исторически известными чертами быта самого Пушкина, и тем теснее подсказывается нашему сознанию тождество между Онегиным и Пушкиным, пусть заведомо условное, но единственно помогающее нам представить себе самого Пушкина в „том уголке земли“. Мы прекрасно знаем, что Пушкин — не Онегин и Ленский — не Вульф (хотя сам Вульф и пробовал утверждать последнее) и что ни одна из обита-

тельниц Тригорского не была реальной Татьяной, ни даже ее оригиналом (как это ни хотелось установить впоследствии многим из них), но некие реальные связи между этими двумя рядами — бытовым и литературным — все же настолько сильны и несомненны (Пушкин сам признавал в няне Татьяны черты своей Арины Родионовны, в изображении времяпрепровождения Онегина — автобиографические картины и т. п.), что условное сближение этих рядов естественно и правомерно. Ландшафтные описания времен года в „Евгении Онегине“ также, во всяком случае, в очень большой мере связаны с живыми впечатлениями Пушкина от целиком проведенного года в Псковской деревне. Это, конечно, не значит, что в них нет чисто литературных отражений или зарисовок, взятых из других мест, но в них доминируют наблюдения, сделанные художником, превратившимся в деревенского жителя Михайловского и Тригорского с их холмистым псковским пейзажем. Пушкин настойчиво подчеркивает в картине зимы — „мягко усталые горы“; весной — „с окрестных гор уже снега сбежали“...; летом — „к бегущей под горой реке“.

В бумагах Пушкина остались точно сделанные им указания, что именно соответственные песни „Онегина“ с их первоначальными заглавиями „Берышня“, „Деревня“, „Именины“, „Поединок“ писались в Михайловском в 1824—1826 годах. Но если бы этих указаний самого поэта и не было бы, такое приурочение можно было бы сделать, исходя из содержания самих песен. В захолустной, но прекрасной михайловской усадьбе Пушкин нашел ту почву, на которой выросли его великие в своей типичности художественные обобщения то унылой, то нежной, то залучившей, то ликующей русской природы северо-западной полосы.

II

Село Михайловское, или, по-народному, Зуево, было частью „Михайловской губы“. Средоточием был некогда существовавший здесь Михайловский монастырь. С XVIII в. здесь началось хозяйничанье Ганнибалов.

Дед матери Пушкина — Абрам Петрович Ганнибал (Ибрагим Аннибал, род. 1697—1698 г.), герой пушкинского „Арапа Петра Великого“, мальчиком-заложником был взят из Абиссинии в Турцию, откуда не то выкраден, не то по просьбе Петра I прислан к нему в Россию и жил при нем в качестве полуденщика, полусекретаря. После смерти Петра Ганнибал был отдален от двора, но дочь Петра Елизавета Петровна пожаловала его чинами и деревнями: в Псковской губернии — Зуевым (Михайловским) с 600 душ крепостных, Псковским и другими, в Петербургской губернии — Кобриным, Суйдой, Тайцами. Как говорит немецкая биография Ганнибала, переведенная самим Пушкиным в 1824—1827 гг.:

„При Петре III попал в отставку по болезни подагре и кончил жизнь философом, 1781 (года) 14 мая на 93 (году), погребен в (уйде близь своей супруге“.

Следующим владельцем Михайловского (с 1782 г.) и ряда окрестных сел был младший сын „арапа“ — Осип (Януарий) Абрамович Ганнибал (1744—1806), женатый на бабушке Пушкина Марье Алексеевне Ганнибал, рожденной Пушкиной (1745—1818). Пушкин, сообщая об „афри-

канском характере“ „шорного шорта“ — своего деда, в „Родословной Пушкиных и Ганнибалов“, указывает:

Дед мой умер в 1807 году, в своей псковской деревне, от следствий невоздержанной жизни. Одиннадцать лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Свитогорском монастыре.

После них Михайловское досталось их дочери Надежде Осиповне Пушкиной (1775—1835)— матери Пушкина. Единственный из старых Ганнибалов, с которым суждено было познакомиться поэту, был средний сын „арапа“ Петр Абрамович (1742—1826), владетель села Петровского. Пушкин посетил его в 1817 году („Встреча с П. А. Ганнибалом“).

С 1835 года Михайловское стало принадлежать Пушкину, его брату и сестре. Хозяйство было захудалое, обильное лишь землею (около 2000 десятин), занятой пахотой, покосами, лесом, озерами, селами и дорогами. В 1825 году при доме Пушкиных состояло 29 человек дворни, в окрестных селах было около двух сотен крепостных крестьян обоого пола, ходивших на барщину в Михайловское. Сеяли рожь, овес, горюх, гречу, лен. Прекрасный санный покос давал берег озера Маленец, над которым расположен был барский дом. Хозяйство Пушкиных было весьма среднего достатка. По описи 1838 г. в Михайловском было 2 крестьянских рабочих лошади, 121 штука крупного и мелкого рогатого скота, 82 штуки домашней птицы, 17 колод чмел.

Вокруг барского дома был разведен небольшой „агличкой“, т. е. на английский манер свободного пейзажного парка, сад с небольшим прудом. Фруктовых деревьев, однако, было мало, и помещики Пушкины не имели с них дохода. Барский дом строил и оборудовал Осип Абрамович Ганнибал. Внешний вид этого дома и всей усадьбы времен жизни в ней Пушкина восстанавливается довольно точно благодаря двум сохранившимся документам того времени: литографии 1837 года и описи.

Отсутствует совершенно указание на количество комнат в доме Пушкиных. Кажется, их было не менее шести.

Кабинет Пушкина выходил на сторону двора и был скорее всего в стороне, противоположной „домику няни“. И. И. Пущин так описывает в своих „Записках“ свой визит к Пушкину в январе 1825 года:

„Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, слышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и проч. Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь к комнате няни, где стояло множество пальцев“.

Это наиболее достоверное сведение, совпадающее, кстати сказать, с описанием „барского кабинета“ в „Евгении Онегине“:

И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и пол огнем
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно...

(гл. VIII, стр. XIX)

Н. М. Языков, знавший не мимолетно Михайловское, в стихотворении на смерть Арины Родионовны дает еще несколько штрихов:

Вон там обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Поля нечищенный, два окна
И дверь стеклянная меж ними.

Опись 1837 года свидетельствует о весьма скромной, небогатой внутренней обстановке всего барского дома: комоды, шкафы, столы простого дерева, крашенные красной краской, диваны, крытые холстинкою, пяток старых простых кресел, три кровати, два простых сундука, стулья с набойчатыми подушками, ломберные столы „сукном ветхие“, да два зеркала, — вот бедный инвентарь захудалых дворян. Никаких следов прихотей моды, особых удобств, неги. Все просто, ветхо — видно, еще от Ганнибалов. На биллиарде „корелчистой березы старой с 4 шарами“ мог развлекаться Пушкин.

Неказист был и „столовый прибор“ — скромная фаянсовая посуда, самовар желтой меди, медные шандалы для свечей.

Прав был практический шурин Пушкина Н. И. Павлищев, ревизовавший Михайловское в 1835 году и увидевший „гибель, грозящую общему имению“ Пушкиных.

Владелец Михайловского пятого класса кавалер Сергей Пушкин не слишком заботился о своей вотчине. Он интересовался больше новостями о саде, о дорожках, о продаже старинной кареты, и когда в 1836 году обратил его внимание на разорение, просил считать его впредь „совершенно посторонним человеком“. Немудрено, что управляющие к 1836 году развели в Михайловском вопиющее воровство, тащили все, что можно. Скот оказался „в самом жалком теле“, птица запаршивела, птичья валилась, деревянный скотный двор был негоден, на Земиной (Змеиной горе), что к Петровскому, жестоко рубили старый лес.

Павлищев писал Пушкину:

„Дом, как известно вам, валится“, объяснял разницу между движимым и недвижимым имуществом, давал указания, откровенно заявляя: „этого... батюшка никогда не знал, да и вы б не узнали, если б меня здесь не было“, и, рекомендуя отдать ряд крепостных в рекруты, приправлял свои советы крепостнической философией: „Не выпускайте из рук плута Михайлу с его мерзкой семьею: я сам не меньше вашего забочусь о благе крепостных... Благо их не в вольности, а в хорошем хлебе“.

Хозяйственный быт Михайловского мало чем отличался от быта села Горюхина. Пушкин и до Павлищева прекрасно видел это разорение Михайловского („Я очень знал, что приказчик плут, хотя, признаюсь, не подозревал в нем такой наглости...“), хотя и не представлял себе размеров этого разорения в деловых цифрах и фактических данных, но на многое закрывал глаза. С „мерзкой семьею“ ганнибаловского раба Михаила Калашникова у него были особые счеты и отношения — дочь Калашникова Ольга была деревенским увлечением поэта.

Немудрено, что, любя поэтическое Михайловское, Пушкин в то же время бежал от его хозяйственной прозы, бежал в не менее поэтическое, но лишенное повседневных забот и смутного чувства ответственности веселое соседнее Тригорское.

III

Важнейшей, драгоценнейшей достопримечательностью пушкинских времен является так называемый „домик няни“, сохранившийся в неоднократно реставрированном виде до наших дней. Самое название его позднейшее, и назначение его при жизни Пушкина не вполне ясно. Но как бы то ни было, это единственный дом в Михайловском и Тригорском, в основном сохранившийся на прежнем месте и в прежних очертаниях.

Хотя Арина Родионовна жила обычно в большом барском доме („мызе“), как это указывает и Пущин, но, понятно, в летнее время она могла жить в соседней с баней комнатухе, что и могло подать повод к названию флигелька „домик няни“. В пушкинское время не казалось странным, например, что:

Татьяна по совету няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бани
На два прибора стол накрыть.

Крыльцо домика (где теперь стоят скамейки между колонками) выходило как раз к барскому дому. Выйдя оттуда позднею осенью, можно было сразу же видеть низкую крышу домика

И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь.

В описи флигель характеризуется так: „1-й, деревянного строения, крыт и обшит тесом. В нем комнат—1. Окон с рамами и стеклами—3. Дверей простых на крюках и петлях железных с таковыми же скобами—3. Печь русская с железною заслонкою и чугуною вьюшкою. Под одной связью баня с голландскою печью и в ней посредственной величины котел двойной“.

Видимо, в пушкинское время два окна, как и ныне, выходили на барский дом по обе стороны крыльца, одно — на реку. Кроме двух наружных дверей, как ныне, была еще внутренняя между комнатами. Кроме барской бани, особо имелась „баня люцкая“, т. е. для крепостных.

В цитированных записках К. Тимофеева (1859 г.) упоминается „баня, при которой есть чистая комната с мебелью“. Посетители девяностых годов упоминают: „Домик состоит из 2-х крохотных комнат с кухней и передней“. В. Острогорский в 1894 году записал: „Этот флигель мы посетили; в нем, говорят, жила одно время няня; в настоящее время перестраивается зачем-то и он“. Но уже от этого времени сохранились зарисовки домика (художника Максимова), его крыльца с колонками с юго-восточной стороны.

Г. Я. Осипович описал домик в 1902 году:

Он представляет собою не что иное, как... „светелку“ или флигелек небогатый, состоящий из 2-х маленьких комнат, отделенных одна от другой сенями, в которых уцелела плита... комнаты в домике низенькие, высотой не более 3-х аршин с 1/2, в три небольших окна каждая, оклеены они обоями в день чествования поэта, также пол был покрашен тогда. Спереди домика четыре крылечка, а позади домика открытое крылечко, выходящее в сад, спускающийся к озеру.

В таком виде домик стоит и поныне на своем остоле из старых еловых бревен. В сентябре — октябре 1920 года он был вторично реставрирован в исключительно тяжелых условиях. Начальник штаба отряда Башкирской бригады, ныне здравствующий Загид Ходжевич Гарев организовал в Михайловском коммуну и силами саперной роты при консультации П. М. Усгимовича восстановил дефекты кладки, бревна на стене, пол и потолок, так как домик „был стар и сильно развалился“.

В парке Михайловского от пушкинских времен сохранились еловая аллея и липовая аллея, связанная с именем А. П. Керн, следы планировки более старых аллей, курганы и пруды.

На северо-запад, к Пегровскому, вдоль озера Кучане тянутся остатки старого смешанного бора.

IV

Впервые в Михайловское Пушкин попал „Егозой“ и „Сверчком“ (его лицейские прозвища) — восемнадцатилетним юношей, только что скончившим лицей. Это было радостное соприкосновение юного горожанина с прелестями деревни, запечатленное дневниковой записью „Встреча с П. А. Ганнибалом“. От этого лета дошло до нас два французских томика басен Лафонтена с надписью юношеским почерком поэта по-французски: „13 июля 1817 Михайловское“ и характерной пометкой об истории книги: „Эта книга принадлежала Ольге Пушкиной. Теперь она подарена ею Александру Пушкину для его развлечения в Лицее, но, к сожалению, он забыл ее на столе“.

Рассеянный юноша уже в этом году отдавал предпочтение перед Михайловским „липовым сводам“ Тригорского, его „веселью, грациям и уму“.

Вернувшись в „пустынный уголок“ после тифа 1819 года („Я ускользнул от Эскулапа“), Пушкин пробыл в псковской глуши меньше месяца, но в это время уже смог констатировать контрасты деревенской жизни в обличительных строках своей „Деревни“.

За цветущими нивами и горами юноша-поэт рассмотрел „барство дикое, без чувства, без закона“. „Деревня“ стала агитационным стихотворением вольнолюбивой молодежи, распространяясь в многочисленных рукописях.

Следующее возвращение в Михайловское было уже иным. Пушкин приехал на этот раз не беззаботным отдыхающим баричем, а ссыльным, 9 августа 1824 года по повелению Александра I.

Перехваченное письмо атеистического содержания было поводом для заточения в глушь кипучего, полного жизни поэта, беспокоящего полицейскую мораль.

Расставаясь с Одессой, свои воспоминания о несчастной любви к Амалии Ризнич, о прекрасной Воронцовой — жене деспотического вельможи, отравлявшего жизнь поэта, о шумной жизни торгового южного города, о Черном море Пушкин слил в один прощальный образ:

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы.
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
 Перенесу, тобою полн,
 Твои скалы, твои заливы
 И блеск и тень и говор волн.

Без передышек, без длительных остановок, согласно предписаниям, приехал Пушкин на лошадях в сосновые леса своей северной вотчины, к живописным, но плоским и после южного моря бесцветным берегам своего псковского озера — Маленца.

Берега поросли земляникой и ландышами, но были безлюдны и унылы, и Пушкин ходил по ним, вспоминая с грустью

Иные берега, иные волны...

Пушкин запечатлел этот момент своего приезда и в наброске „Евгения Онегина“:

А я от милых южных дам,
 От жирных устриц черноморских,
 От оперы, от темных лож,
 И, слава богу, от вельмож,
 Уехал в тень лесов Тригорских,
 В далекий северный уезд —
 И был печален мой приезд.

Губернатор Адеркас, предводитель дворянства Пещуров, игумен Иона, собственный отец должны были надзирать за религиозным и политическим поведением Пушкина.

Если надзор первых двух был для Пушкина неизбежным злом официального порядка, с которым в повседневной жизни можно было и не сталкиваться, если святогорский игумен порою смешил Пушкина и своими прибаутками и разговорами доставлял материал для записей и наблюдений художника, то всего более привело Пушкина в бешенство принятое его отцом поручение распечатывать его письма. Он готов был в Михайловском, как и в Одессе, терпеть положение „ссылочного невольника“, находящегося под „строгим присмотром“, вынужденного писать под „двойным конвертом“, на чужое имя, но не у себя дома, не шпионство собственного отца.

Впоследствии Пушкин оставил поэтическое воплощение своих настроений этой поры в черновиках стихотворения „Вновь я посетил“:

Я еще
 Был молод, но уже судьба и страсти
 Меня борьбой неравной истомили.
 Утраченной в бесплодных испытаньях
 Была моя неопытная младость,
 И буйные кипели в сердце чувства,
 И ненависть и грезы мести бледной.
 Но здесь меня таинственным щитом
 Святое привычное осенило, —
 Поэзия как ангел-утешитель
 Снасла меня, и я воскрес душой.

Вдобавок подозрительно-трусливый Сергей Львович позволил себе обвинять поэта в преполавании безбожия младшим тут же находившимся детям — Льву и Ольге. Три месяца Пушкин терпел эту домашнюю слезку и подозрения, но теперь вышел из себя. Бурное столкновение с отцом только ухудшило положение. Сергей Львович кричал на весь дом и жа-

ловался соседям, что „сын — чудовище“, чуть ли не пытался его избить. Опасаясь более широкой огласки этой клеветы, Пушкин дошел до мысли письменно просить Адеркаса перевести его „в одну из своих крепостей“, только бы не встречаться с отцом. К счастью, письму не было дано ходу. Но пребывание отца и сына в Михайловском оказалось несовместимым. Отец, забрав с собой семью, уехал из Михайловского. Не сразу, но мало-помалу для Пушкина наступил период относительного успокоения.

Воспоминания об Одессе, о Ризнич и Воронцовой постепенно становились не столь острыми. Очарование русской деревни, общество почти 70-летней Арины Родионовны и прочих крепостных, старые сказки и песни, возможность работы, — все это понемногу затягивало душевные раны. После рассеянной кипучей жизни прошлых лет Михайловское оказалось неожиданной тихой заводью, торжественным уединением, предоставившим поэту досуг для усиленного чтения, поэтического сосредоточения и большой творческой работы.

Занятиям деревня учит,
Уе ииненье хоть кого
Читать в неи стные дни научит —

записал Пушкин в бывшей у него в Михайловском большой кожаной массонского образца тетради, сохранившейся до наших дней.

И полетели просьбы в Петербург к друзьям, к брату о книгах, распоряжения о переделках стихов в „Онегине“.

Особенно затосковал он по стихам, по новинкам Запада. Были нужны на каждом шагу книги для собственной работы, материалы для нахлынувших многочисленных замыслов, теснящих друг друга. Образ Разина, „единственного поэтического лица русской истории“, прежде всего возник перед Пушкиным. Но под рукою для других замыслов должна была быть и французская библия и юран и пища души — „Разговоры“ Байрона, и волшебные панорамы новых поэм Вальтера-Скотта, и альманахи с новинками русской литературы, и „Эда“ Баратынского.

Быстро были закончены „Цыганы“ (10 декабрь). А исторические места, окружающие воспоминания о Ганнибалах, направляли мысль то к замыслам „Бориса Годунова“, то к поискам темы о предке — сподвижнике Петра.

В михайловском уединении Пушкин восторженно углубился в Шекспира. В общении с ним он подкреплял свое убеждение, что „дух века требует важных перемен и на сцене драматической“. Впоследствии, вспоминая о „Борисе Годунове“, он записал: „Когда я писал эту трагедию, я был один, в деревне, не видел никого, не читал ничего, кроме газет“. . . „Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира“.

Желая в своем реформаторском порыве быть на высоте общеевропейской драматургической мысли, Пушкин считал себя обязанным заново пересмотреть и важнейшие книги по теории драмы. Вновь полетели в Петербург к Плетневу и брату просьбы о книгах.

В появившихся X и XI томах „Истории Государства Российского“ Пушкин нашел увлекательные, богатейшие фактические материалы,

легшие в основу хода и основных идей собственной трагедии: „Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории“, — записал Пушкин позже. — „Не смущаемый никаким ничем влиянием, Шекспиру и подражал в его вольном и широком изображении характеров, в неукротимом и простом составлении типов. Карамзину следовал в своем развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времен. Источники богатые! Умел ли я и только пользоваться — не знаю. По крайней мере, труды мои были рвением и добросовестны“.

Но одновременно в той же черной тетради, где писал Пушкин свою трагедию, он продолжил и свой „роман в стихах“ — „Евгения Онегина“ (3-я глава окончена 10 октября). Обстановка деревни как нельзя больше подходила к деревенским главам поэмы, к которым поэт только подошел на юге.

Творчески заполняя утро каждого дня, Пушкин вместе с тем приводил в порядок и написанное ранее. Он подготавливал к печати общее издание своих стихотворений, уполномочивая в Петербурге своих друзей провести издание их.

Письма Пушкина из Михайловского до края насыщены литературными интересами, жаждой литературных новинок, отзывами о новых произведениях, мыслями о критике, о журналах. С Дельвигом, Бестужевым и Рылевым, с Вяземским и Плетневым, руководящими в городе литературными органами, близкими ему, он ведет неистощимую переписку, интересуясь каждой мелочью, каждым поворотом литературной политики, всей сложностью жизни, от которой он насильно оторван.

В 1825 году в Михайловском его посетили двое из любимейших лицейских друзей — добрый и честный Пущин, привезший с собой ярчайшую литературную новость — комедию Грибоедова (посещение Пушкина 11 января), и ленивый Дельвиг (апрель), с которым Пушкина особенно сблизжали его литературные интересы.

Пушкину было не до соседей-помещиков. Краткими отлучками из Михайловского были лишь поездки во Псков (начало ноября 1824 года) и из соседей к Рокотову, Пещурову, Низимову, Бухарову, Корсаковым.

Охота, рыбная ловля, прогулки, верхом и пешком, купанье, беседы с няней, любовь к крепостной девушке Ольге Калишниковой, чей образ был подмечен в правдивых записках Пущина, — так заполнялось время, не занятое творчеством.

Иногда к этому присоединялись поездки в монастырь, в Святые Горы, посещение ярмарки, где Пушкин, по свидетельствам многих современников, с наслаждением окунался в пестрый народный быт, прислушиваясь к меткому слову, к песне нищего, к рассказам бывалых людей.

Случайный очевидец торговец Лапин записал свое впечатление от внешнего вида Пушкина в эту пору. Сам Пушкин дал аналогичную зарисовку своей внешности, нарочито эпатирующей соседей-помещиков, в первоначальной XXXVIII строфе четвертой главы своей поэмы:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский на распахку
И шляпу с кровлею как дом

Подвижный... Сим убором чудным,
Безправственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Псковская дама Дурина.

Насыщенный новыми впечатлениями живой жизни, Пушкин вновь возвращался в уединение михайловского дома и с новой страстностью уходил в работу. „Душа моя раскрылась, я могу творить“, — писал он. Работа над „Борисом Годуновым“ всецело захватила его. Из исторических конспектов возникали живые сцены, многое сложилось по трем поездкам верхом, не поспевая быть записанным (сохранился рассказ о том, что так во время поездки из Тригорского домой была создана первоначальная, потом забытая, картина объяснения Дмитрия с Мариной). Огромный труд Пушкина над совершенствованием стиля и композиции трагедии сохранился в ряде черновиков, отражающих самый процесс творчества. И тут же в рукопись внедряется бесподобно шутливый „! о-объясняемый разговор с Александром I“. Пушкин на месте царя. Сочинителем Пушкиным стал Александр II, закончив воображаемую сцену, поэт вновь продолжает трагедию.

„Борис Годунов“ был закончен 7 ноября и, перечитав его гдех, один, Пушкин как ребенок веселился, бил в ладоши и кричал: „и да Пушкин, ай-да сукин сын!“

Около сидела няня...

V

Няня была добрым духом Михайловского. Старая ганинбаловская раба, и после „вольной“ с преданностью Савельича оставшаяся блюсти „барских детей“, она и в Михайловском скрасила жизнь своего питомца. Дитя народа, она то-и-дело очаровывала его многоцветами своего полнокровного мужицкого языка, своим певучим сказом, мудростью своих поговорок и присловий, прелестью русских сказок пленительными русскавами про быт Ганинбалов. Памятливая, добрая и веселая, она

Хранила в памяти не мало
Старинных былей, не выли
Про злых духов и про девиц.

Она обслуживала своего „неуимчивого“ Александра Сергеевича и в долгие зимние вечера, когда он писал при свече в большой тетради строки „Онегина“, „Цыган“ и „Годунова“, она, пересиливая то сную словоохотливость, то сон, сидела тут же рядом, всегда готовая исполнить любое поручение джбмнца.

И Пушкин в свою очередь подчас читал „единственной своей подруге“ плоды своих „мечтаний и гармонических затей“, поверяя ее умным мнениям народные сцены своей трагедии: народа, воющего на коленях, разговоры Варлаама и Мисаила. Он любовно запоминал тяжелые шаги ее утренних дозоров за стеною, ее „простые речи и советы и укоризны, полные любовью“. Они не только его „сердце ободрили отрадой ихой“, но и ложились в основу его творческих образов, речей его героев.

Мастерица ведь была!
И откуда что брала?

Характерно, что в письме к сестре, сплошь писанном (в августе 1825 года) по-французски, Пушкин сделал русскую приписку, любовно передающую интонацию старушки: „Няня заочно у Вас, Ольга Сергеевна, ручки целует — голубушки моей“.

В начале Пушкин с помощью друзей предполагал организовать свой побег из Михайловского за границу, но планы бегства, первоначально казавшиеся единственным спасением, мало-по-малу были заброшены, поэзия спасала.

В тишине псковской усадьбы, под жужжанье няниного веретена, на старых рубежах с Литвою, на холмах, где шел некогда Стефан Баторий, создана была величайшая русская трагедия о былых мятежах. И в день, когда в Петербурге разыгрывалась подлинная трагедия нового мятежа — восстание декабристов, ничего не зная о событиях, Пушкин мирно заканчивал „Графа Нулина“, отдыхая за пародированием Шекспира, за реалистическими картинами провинциальной русской жизни.

Узнав о восстании „товарищей, братьев, друзей“, Пушкин рванулся в Петербург, но, едва выехав из Михайловского, вернулся. . . И кормщик и пловец декабризма погибли. . . „Арион“ — поэт спасся от бури в тиши своей деревни. Он возложил надежды на освобождение в виду смены царствования. Подталкиваемый петербургскими друзьями, он обратился к Николаю I с просьбой об освобождении. Он соглашался хранить свой образ мнений религиозных и политических про себя и безумно не перечесть существующему строю.

Между тем, в августе 1826 года к сложной системе тайного и явного надзора за Пушкиным прибавилось еще одно звено — тайный правительственный шпион Бошняк, которому, однако, не удалось собрать сколько-нибудь компрометирующего Пушкина материала.

В ночь на 4 сентября 1826 года Пушкин был вызван к Николаю в Москву. Вместо „воображаемого разговора с Александром“ состоялась подлинная встреча с Николаем, и Пушкин только 2 ноября вернулся в Михайловское, где по поручению царя засел за писание „Записки о народном воспитании“. Он „возвратился вольным в покинутую тюрьму“, не подозревая об относительности этой „в. ли“.

В июле 1827 года Пушкин вновь отдыхал в Михайловском и начал здесь „Арча Петра Великого“ — свою первую прозаическую вещь — исторический роман из жизни предка. Возвращаясь в начале октября в Петербург, на станции Залазы он повстречал ближайшего из друзей детства В. К. Кюхельбекера, отправляемого из Шлиссельбурга в Динабургскую крепость, и записал встречу с другом-декабристом („Встреча с Кюхельбекером“).

Письма Пушкина 30-х годов свидетельствуют о том, как страстно порывался он вновь уйти из тягостной городской жизни в спокойную деревенскую тишь не только временно, но даже предполагая жить там постоянно. Эти планы не осуществились. В 1835 году Пушкин приезжал в Тригорское весной и осенью. В 1836 году (8—24 апреля) он был в любимом „уголке земли“ в последний раз, когда приехал в Святые Горы хоронить свою мать подле ее родителей Видимо, о псковских местах думал он еще в „Стансах“ 1823 года, когда писал:

Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

VI

По узкой песчаной дороге, Михайловской рошей, мимо Маленца, как круглое блюдо лежащего в зелени заливных лугов, мимо лесистого холма, мимо трех сосен и раздолья хлебных полей спешил Пушкин то пешком, играючи палкой (так рассказывали его современники-крестьяне), то верхом в находящееся в трех верстах от Михайловского Тригорское.

Дорога проходит через Воронич. До сих пор стоит здесь с краю небольшая старая (Воскресенская) церковь. Слева от алтарной стены сохранилось до наших дней несколько могил. Здесь похоронен знакомец Пушкина, сын Петра Ганнибала, помещик села Петровского Вениамин Петров Ганнибал (1774—1839). Могильная плита и надпись на ней сохранились в целости. Здесь же и могила „попа Школы“ (Иллариона Евдокимовича Раевского), безобидно „надзиравшего“ за Пушкиным в годы его ссылки („мой поп“), вершителя браков, крестин и похорон окрестных сел, которого поэт вместе с Анной Вульф шутливо заставил в 1825 г. служить поминки по Байроне. Дочь его, по мужу Скоропостижная, еще не так давно рассказывала о Пушкине. П. А. Осипова обычно посылала попу Школе разрешения на венчания своих крепостных. Пушкин свидетельствовал подлинность подписей приятельницы-помещицы...

За церковью справа от дороги — зеленый холм городища, находящегося недалеко от Тригорского. Здесь кладбище погоста Городище. Здесь на высоте находятся и поныне могилы П. А. Осиповой, ее второго мужа И. С. Осипова, ее сына от первого брака друга Пушкина Алексея Вульфа и отца Осиповой А. М. Вындомского, похороненного здесь еще в 1813 г. Во времена Пушкина возле кладбища стояла старая церковь, сгоревшая в 1913 году.

Древнее городище было для Пушкина историческим символом всех окрестных мест и колоритным средоточием исторических ассоциаций. Поэтому, стилизуя первоначальное заглавие написанного в Михайловском „Бориса Годунова“ в манере летописных заглавий, Пушкин писал:

писано бысть Алексашкою Пушкиным
в лето 7333 на городище Ворониче.

Любопытно, что и в черновых строфах „Евгения Онегина“ были следующие стихи:

За (домик наш, за) полку книг и дикий сад
За мельницу (озеро), за городище
И за смиренное кладбище...

За городищем вновь мелькают извивы Сороти и начинается Тригорское, место досугов поэта, слившееся в его представлении с Михайловским в одно целое, заслонившее его, скрасившее одиночество и тоску жини в опальном доме.

Тригорское Тригорск, Тригорье — все на холмах, не столь глухо, как Михайловское. Парк его и до сих пор хранит следы культурной широкой старой планировки липовых аллей, искусственных прудов куртин, фруктовых деревьев. Здесь больше старых лиственных деревьев, мно им из которых ныне больше двухсот лет, — „старейшин сада вековых“, как

назвал их Языков. Они, естественно, приручиваются преданием к определенным эпизодам из жизни Пушкина, за их рассадкой чувствуются старопомещичьи затеи. Отдельно на насыпном холме стоит ширококронистый „патриарх лесов“ — дуб, ветвищийся на высоте около трех метров от земли узловатой вязью мощных ветвей. Это, конечно, не дуб-„лукоморье“, как его называют порой, но это — современник Пушкина.

Несколько далее — круг, обсаженный старыми дубами и представляющий своеобразные „солнечные часы“; здесь же широкая площадка („бальная зала“), еще далее гигантская „ель-шатер“. В 1925 году была сломана грозой береза с раздвоенным стволом („береза-седло“), в дупле которой, по легендам, Пушкин спустил монету или кольцо.

Тригорское было пожаловано в составе „Егорьевской губы“ в 1762 г. Екатериною II в вотчинное владение деду П. А. Осиповой Максиму Владимскому. Еще сейчас определяется место, где стоял старый тригорский „замок“. Но уже П. А. Осипова жила в новом доме. Этот последний стоял на берегу пруда, отражаясь в нем. В этом доме постоянно бывал Пушкин. Этот дом достоял до революции и сгорел в ночь на 19 февраля 1918 года, на день раньше гибели дома в Михайловском. Дети П. А. Осиповой под старость были суровыми крепостниками, не оставившими по себе доброй памяти в народе.

Дом в Тригорском был велик, длинен (он строился под заводское строение), в нем было свыше 10 комнат и 30 окон. В сравнении с ним дом в Михайловском мог казаться и называться „домиком“. Внешний и позднейший внутренний вид Тригорского дома хорошо известен многочисленным снимкам. Нескладный, с чужеродными колоннами по бокам, он не производил впечатления красивого, а скорее патриархально-приветливого. Его библиотека, которой пользовался и Пушкин, вещи, портреты, картины хранятся и поныне в Пушкинском доме Академии наук СССР.

От дома к обрыву над Соротью ведет тропинка, где на скате холма под липами, кленами и дубами ныне стоит так называемый „диван Онегина“. Это одно из красивейших мест, несомненно любимейших и обитателями Тригорского пушкинской поры. Далее, до сих пор около обрыва, весной и летом усеянного ландышами и земляникой, между деревьями видно место старой тригорской бани, где, по преданию, иногда ночевали Пушкин, Н. М. Языков, Алексей Вульф.

Уже в первые свои наезды в Псковскую губернию веселым юношей, беспечно-жадно приступавшим к жизни, поэт познакомился со своими тригорскими соседями. Слишком мало известно об этих встречах. Впечатления были случайными и мимолетными. Серьезное, значительное место заняло Тригорское в жизни Пушкина, когда он приехал из Одессы в августе 1824 года как ссыльный, насильно оторванный от кипучей и яркой жизни южного города...

Вспоминая позже этот свой печальный приезд на север, когда он „еще был молод и ожесточен“, когда он чувствовал себя одиноким, уязвленным „горькой, несмыслимой обидой“ дружбы, истомленным „неравной борьбой“ с „судьбою и страстями“, полным „ненависти и грез мести“, сам Пушкин считал, что здесь спасла его поэзия.

Немалую роль в этом „спящении“ сыграло Тригорское. Сюда он бежал из Михайловского, сначала от столкновений со шпиониющим отцом,

потом от неуютя почти пустого барского дома, с докучливостью хозяйственной прозы, с его зимними хлопотами, угарами, неустачей книг. Моногонность одиноких (пусть лирических) вечеров в Михайловском, несмотря на возможность творческой работы и милое общество няни, в конце концов начинала тяготить его.

VII

В Тригорском было шумно, молодо, весело, тепло и уютно. Пусть вначале самые обитательницы Тригорского показались Пушкину провинциальными и неумными. Скоро в Пушкине наряду с Онегиним, скептически критикующим соседск, заговорил и увлекающийся голос Ленского. Цветник барышень, тянувшихся к уже знаменитому и поражающему как своей исключительной биографией, так и личной невиданной оригинальностью и обаятельностью поэту, постепенно и неотразимо в свою очередь привлек его к себе. Все, начиная с хозяйки, умной, образованной и патриархально приветливой Прасковьи Александровны и кончая самыми младшими членами большой семьи, непрерывно и беспрерывно старались выказать поэту свое внимание. Он появлялся здесь как солнце. Он был для них в одном лице живым воплощением русской литературы.

Вольтер и Гете и Расин

Не разбираясь в подлинных размерах его гения, простодушные и милые обитательницы Тригорского инстинктивно чувствовали его совершенно особенную одаренность, столь не похожую на все окружающее их, отдавали ему свои девические альбомы, несли свои восторженные удивления, свою любовь. Очаровательность его смеха, затей, ума, стихов, остроумия, блеска, славы опьянили головки этих уездных барышень

.. с открытыми плечами,

С висками гладкими, и темными очами —

и наполнили новой жизнью старые липы, сени и куртины Тригорского, озарили новым светом покой старого дома, отражающегося с дедовских времен в зеркальном пруде.

П. А. Осиповой в 1824 году было 43 года. А. П. Керн так зарисовала ее внешность: „Она, кажется, никогда не была хороша собой; рост ниже среднего, гораздо впрочем в размерах; стан выточенный, кругленький, очень приятный; лицо продолговатое, довольно умное; нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, шелковистые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность ее характера“.

Она уже дважды была вдовой, не знавшей, однако, настоящей любви, была матерью шестерых детей. Старая знакомая и дальняя родственница (по Ганнибалам) семьи Пушкиных, она нежной заботливостью, лаской и материнским участием встретила молодого „изгнанника“. Она осталась преданной своему „молодому другу“ в течение всей его жизни.

Сама не знавшая в жизни полноты личного счастья, она перенесла

потребность любви на Пушкина. В этом чувстве было столько же запоздалой женской влюбленности, сколько и материнского пестования. Если Пушкин был избалован первым, то второе было для него новым, и он отвечал на это чувство неизменно со всею своей сердечностью. Иногда сложное чувство Осиповой к Пушкину превращалось в требовательную ревность, для которой постоянным испытанием было соседство с Пушкиным молодым деушек, ее дочерей и родственниц. Она ревновала к своей старшей дочери — Анне и услала ее, боясь романа с Пушкиным, в далекое твердое имение. Она ревновала и к своей племяннице А. П. Керн, приехавшей в Тригорское в 1825 году, и деятельно содействовала примирению ее с мужем. В подобные моменты опека Прасковьи Александровны, вероятно, бывала утомительной для Пушкина, а крутые ее меры раздражающими:

Кого не утомят угрозы,
Моления, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

Но все же хозяйка Тригорского среди всех прочих его обитательниц занимала в сердце Пушкина совершенно особое место, место беззаветного друга, от которого можно было в практическом деле получить дельный и добрый совет, по поводу романтической истории выслушать нежную журьбу, в беседе литературной — услышать умное суждение, потолковать о политике, о стихах. Прасковья Александровна не только помогала Пушкину в хозяйственных делах, выполняла его поручения, постоянно давала взаймы деньги и предлагала в конце 30-х годов охотно сделаться управительницей его дел в Михайловском, она вместе с тем была для него интересной собеседницей. До нас дошло ее случайное замечание о царе: „Пока brave Николай будет придерживаться способа военного управления страной, дела будут идти все хуже и хуже, так как он очевидно внимательно не прочел, или же совсем не читал „Историю Византии“ Сегюра (и многих других, писавших о причинах падения империй)“. Она заметила как-то: „наше дворянство еще похоже на варваров“. Библиотека Тригорского на русском и иностранных языках была получена Осиповой от ее отца. Она хранит между многими страницами книг рядом с засушенными цветами многие записки рукою „Прасковьи Вындомской“, „Прасковьи Вульф“, „П. Осиповой“. Богатая беллетристика, книги по истории, естествознанию, философии и политике, — все было под рукою Пушкина, к его услугам. В одной из книг — „Клэриссе“ Ричардсона — до сих пор сохранился карандашный рисунок Пушкина — женский профиль.

Баратынский, Дельвиг, Языков и Пушкин пополняли библиотеку своими произведениями с автографами. Характерно, что Пушкин до конца жизни посылал П. А. Осиповой все свои новые сочинения и свой „Современник“. Написанные в Михайловском „Посражения Корану“ были посвящены ей, как и знаменитое элегическое шестистишие, не без намека на ее „осень“, вписанные в ее альбом в 1825 году:



*Гравюра Л. С. Хижинского.
Пушкинские горы.*



*Гравюра Л. С. Хижинского.
Пушкинские горы. Могила Пушкина.*

Цветы последние милей
 Роскошных первенцов полей.
 Они увялые мечтанья
 Живее проб, ждут в нас,
 Так иногда р.злуки час
 Живее самого свиданья.

Прасковья Александровна наслаждалась стихами и письмами Пушкина („Я перечитываю их иногда с удовольствием скупца, пересчитывающего золотые слитки, которые он копит“) и оберегала его как залетевшего в Тригорское драгоценного мотылька, который в любой момент может упорхнуть („в новом году вы отдохнете — и затем улетите из наших объятий — к новым радостям, к новым наслаждениям, к новой славе“), и сама порой как девушка влюбленно писала ему: „бывают моменты, когда я желаю иметь крылья, чтобы улететь к вам, увидеть вас на мгновение и затем вернуться, — но это безумие! — не правда ли?“

С годами дружба, основанная на взаимном уважении, не ослабевала, а крепла. Прасковья Александровна посылала поэту трогательные деревенские подарки и готова была распространить свою любовь к нему на его красавицу-жену и детей.

Анне Николаевне Вульф в момент приезда ссыльного Пушкина было 25 лет. Она была круглолица, как Ольга „Евгения Онегина“ („вы имеете несчастье обладать круглым лицом“ — дерзко писал ей Пушкин), сентиментальна, темпераментна, склонна к слезам. Она страстно, беззаветно влюбилась в Пушкина. Он отвечал ей тонкостями „науки страсти нежной“, проходя с нею весь ее курс:

лицемерить,
 Таить надежду, ревновать,
 Разуверять, засавить верить,
 Казагся мрачным, изнывать,
 Являться гордым и пос ушным,
 Внимательным, иль равнодушным. . .

Последнего, пожалуй, было более всего. Небрежность в сердечных письмах, дерзость, основанная на уверенности в успехе, характерна для писем Пушкина к „воспаленной деве“ и для его отзывов о ней („с Аннеткой бранюсь; надоела“, — писал он брату уже в ноябре 1824 года). Ее нервозность, слезы, письма, суеверия, аффектированная чувствительность одновременно тешили и раздражали Пушкина. Он говорил ей колкости, высмеивал ее с другой сестрою, а она, узнав, что он говорит о ней „ужасные вещи“, восклицала: „что вы за человек тогда, и какой дурой была я!“ и тем не менее, и тем сильнее, продолжала признаваться ему в своей к нему страсти. Для нее он был Онегиным: „Ах, Пушкин, вы не стоите любви, и я была бы счастлива, если бы раньше оставила Тригорское и если бы последнее время, которое я провела там с вами, могло изгладиться из моей памяти. . . вы раздражаете и раните сердце, цены которому не знаете. Никогда в жизни я не переживала такого ужасного времени, как нынче“. . . Но Пушкин продолжал играть роль псковского Ловеласа. Даже циник Алексей Вульф беспокоился за доброе имя сестры, когда узнал, что Пушкин собирается ехать в Тверскую губернию, куда мать услала ее от Пушкина.

Бедная Аннета учится итальянскому языку, чтобы иметь возможность хоть по-итальянски написать Пушкину: „Посылаю тебе поцелуй, любовь моя, прелесть моя“. Пушкин, верный своей системе-игре, сообщает ей о своей любви к другой, смеясь над ее порывами, разорванными письмами, зачеркнутыми фразами, слезами...

А. Н. Вульф осталась неизменной в своем обожании Пушкина. К сожалению, о характере отношений Пушкина к ней в Михайловском-Тригорском можно догадываться только по ее письмам к поэту. Его письмо к ней сохранилось только одно. Вероятно, были периоды и большей сердечности, как видно из ряда стихотворений, посвященных ей. Сохранился экземпляр „Стихотворений Александра Пушкина“ 1826 года с надписью: „Дорогой имяниннице Анне Николаевне Вульф от нижайшего ее доброжелателя А. Пушкина, в село Воронич 1826 года 3 февраля из сельца Зуева“. Здесь же Пушкин оттиснул на сургуче свой перстень-талисман.

В 1828 году поэт преподнес А. Н. Вульф портрет Байрона, также снабженный дарственной надписью. Ей он посвятил стихотворения „К имяниннице“ и „Я был свидетелем златой твоей весны“, вероятно, написанные в Михайловском. В альбоме А. Н. Вульф Пушкин вписал еще в 1824 г. четверостишие Дельвига, а 2 октября 1835 года, расставаясь с Тригорским,—начальные строки XVI строфы шестой главы „Евгения Онегина“:

Простите, сени.
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души...

и далее по-английски приписал стихи из поэмы Кольриджа „Друг“, говорящие о том, что друг редко получает награду, несмотря на все свои достоинства. А. Н. Вульф с примиренной горечью могла применить эти стихи к себе.

Второй дочерью Осиповой была Евпраксия Николаевна. Ей было в 1824 году всего 15 лет. Ей Пушкин в конце своего пребывания в Михайловском отвечал взаимностью. Ее имя он поместил в своем „Донжуанском списке“, ее уменьшительное имя он увековечил в шуточных стихах „Вот, Зина, вам совет—играйте“, в XXXII строфе „Евгения Онегина“ („Зизи, кристал души моей“), ей он посвятил оптимистическое стихотворение „Если жизнь тебя обманет“. Влюбленность Пушкина в Евпраксию Николаевну была веселой и шаловливой. Он меряется с ней поспором, он находит, что она „очень мила“, она для него:

Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивой фиал,
Ты, от кого я пьян бывал.

Портрет Евпраксии Николаевны этого времени много лет спустя так зарисовал Языков:

Я верно, живо помню вас,
И взгляд радушный и огнистый
Победоносных ваших глаз,
И ваши кудри золотисты
На пышных склонах белых плеч,
И вашу сладостную речь,
И ваш сладостное пенье,
Там у окна, в виду пруда...

Н. Н. Пушкина, уже будучи четыре года женою поэта, ревновала мужа к Евпраксии Вульф. Анна Николаевна писала ей по этому поводу из Тригорского 28 июня 1834 года: „По философской сентенции вашего супруга, которую вы мне приводите, я вижу, что со времени моего отъезда он начал посвящать вас в прошлое... Как можете вы питать ревность к моей сестре, дорогая моя? Если ваш муж даже был влюблен в нее некоторое время, как вам непременно хочется верить, то разве настоящим не поглощается прошлое...“

Может быть, наиболее значительным и показательным памятником тригорских отношений Пушкина к Евпраксии Вульф является его надпись на подаренной ей книге с IV и V главами „Евгения Онегина“:

Евпраксии Николаевне Вульф

От автора

Твоя от твоих

22 февр. 1828 г.

Слова „Твоя от твоих“ еще раз говорят о том, что Пушкин сам хотел подчеркнуть связь между деревенскими главами „Онегина“ и своей былой жизнью в Михайловском-Тригорском, о том, что впечатления от тригорских барышень и, может быть, в особенности от Евпраксии Вульф он как бы возвращал теперь им и ей, претворив их в художественные образы Ольги и Татьяны.

Под сенью лип и дубов Тригорского Пушкин весело влюблялся и в других его обитательниц — девятнадцатилетнюю падчерицу Осиповой пылкую Алину (Александрю Ивановну), с которой он „путешествовал в Опочку“, и в томную племянницу Осиповой Александрю Ивановну Вульф (Нетти).

Но наиболее яркой любовной вспышкой, затмившей на время все остальные увлечения, было чувство Пушкина к другой племяннице П. А. Осиповой — Анне Петровне Керн. „Как мимолетное виденье“ пленив восторженного поэта, она единственная вдохновила его на нежнейший лирический гимн „Я помню чудное мгновенье“. В ее умных и точных воспоминаниях живой Пушкин этих лет был в свою очередь ею единственной из всех этих женщин сохранен для потомства. Пусть не надолго, но Пушкину-изгнаннику среди лет „грусти безнадежной“ именно она (так казалось ему) вернула:

и вдохновенье,

И жизнь и слезы и любовь.

Пушкин так характеризовал Анну Петровну в одном из писем: „Вы хотите знать, что такое г-жа Керн? Она гибка, она все понимает; она легко огорчается и столь же быстро утешается; она робка в манерах и смела в поступках; но она так привлекательна!“ Письма Пушкина к Керн полны страсти и обожания, дерзостей и шуток; альбомные записи брызжут веселостью. Пушкин получил от нее томик Байрона и вот она — „Гюльнара и Леила, она — самый идеал Байрона“, а муж ее, старый генерал Керн, символизируется Пушкиным в виде врагов Байрона. „Ваш приезд в Тригорское, — пишет Пушкин, — оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое произвела на меня некогда встреча наша у Олениных. В моей печальной деревенской

глуши я не могу сделать ничего лучшего, как стараться больше не думать о вас!..” Немудрено, что „бешенству желаний” поэта властно противопоставила Прасковья Александровна свое вмешательство.

Пушкин быстро отдался другим увлечениям, и уже в мае 1826 года в нарочито спокойном, в намеренно грубоватом тоне спрашивал оказавшегося избранником недавнего „гения чистой красоты” Алексея Вульфа: „Что делает вавилонская блудница Анна Петровна?.. Мое дело сторона, но что же скажете вы?”

В отношении Пушкина к женщинам Тригорского, несомненно, играло роль соревнование с братом Анны и Евпраксии, кузеном Анны Петровны, развращенным и пресыщенным Алексеем Вульфом. Нелегко да и не важно разобрать, кто для кого был здесь учителем. Дерптский лихой студент, он был, в сущности говоря, для Пушкина единственным товарищем мужчиной в эти годы. Другой представитель традиций дерптского студенчества — Языков, приехавший в июне 1826 года в Тригорское, не изменил характера эпикурейских состязаний, а, наоборот, усилил их. В Михайловском Арина Родионовна хлопотала под звуки хоровых песен, устраивая на ганнибаловском столе мед, яблоки, землянику, вина, а порой и сама присаживалась с краю и „бражничала” за здоровье своего ясного сокола и его гостей.

В Тригорском на балконе Евпраксия „сочиняла” и разливала в подобные дни ромовую жженку; в бане под откосом, пока звезды не погасали в зеркале пруда, слышались песни, стихи и смех. С Вульфом можно было только пить и толковать о любовных достижениях. Языков вместе с буйством „богатырской глотки” приносил с собой и неиссякаемый кипучий родник поэзии. Соревнование поэтов начиналось. Вахк объединялся с Аполлоном. Знойное лето, очаровательность природы, общество милых девушек, поэтические двусмыслицы, вольнолюбивые тосты, одушевляющее присутствие Пушкина д-ляли тригорские пирушки незабвенными, годину „золотой”, лето „божественным”, память о нем переходящую „из рода в род”...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“